

ЭДУАРД ПОДВЕРБНЫЙ

ЦИКЛИЧНОСТЬ ДУШИ

Теория Перерождений



Эдуард Подвербный

Цикличность Души.

Теория Перерождений

<https://litres.ru/73996171>

SelfPub; 2026

Аннотация

Вы думаете, перерождение — это новая жизнь в новом теле?

А если нет? Если вы родитесь снова — в том же году, в том же городе, в том же теле? Если ваша душа навсегда заперта в петле одной и той же жизни, которую вы проживаете снова и снова?

И если сразу после рождения вы помните и понимаете всё — но с первым словом - память о прошлой жизни исчезает навсегда? «Цикличность Души. Теория Перерождений» — единственная книга, где перерождение работает не так, как вы привыкли.

Никаких других миров. Только ваша жизнь. Которую вы обречены прожить бесконечно. И каждый раз — забывать, что живёте её уже не в первый раз.

Содержание

Глава 1. Закат	4
Глава 2. Первый свет	8
Глава 3. Первый звук	13
Глава 4. Чужая музыка	19
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Эдуард Подвербный

Цикличность Души.

Теория Перерождений

Глава 1. Закат

Пальцы Льва Эдуардовича, иссохшие от времени, дрогнули на больничной простыне. Белой, казённой, пахнущей хлоркой.

Он лежал в палате на третьем этаже городской больницы — той самой, где когда-то, в сорок четвёртом, умирал от воспаления лёгких его отец. Лев тогда стоял у окна и смотрел, как военный санитарный грузовик увозит раненых. Снег падал на бинты, на носилки, на лица, которых он уже никогда не увидит. Теперь на месте отца лежал он сам.

Страницы дневника — единственное, что он взял с собой — лежали на тумбочке. Лев протянул руку, коснулся потрёпанной обложки. В этом простом прикосновении заключалась вся его жизнь — прожитая, осмысленная и теперь, возможно, готовая к завершению.

Ветер из приоткрытой форточки шевельнул страницы. Лев прикрыл глаза. Он вспомнил дом. Дом своего детства — на Петроградской стороне, с резными наличниками и скри-

пучей половицей на втором этаже. Мать ставила на стол фарфоровый чайник и всегда говорила: «Лёвушка, не торопись, жизнь долгая». Лев тогда посмеивался про себя. Теперь, лёжа на больничной койке, он вдруг остро ощутил, как быстро всё пролетело. Он вспомнил, как впервые услышал симфонический оркестр — в восемь лет, по радио, которое отец притащил с завода. Звуки хлынули в комнату, и Лев тогда заплакал — внезапно, от того, что вдруг понял: есть что-то большее, чем этот дом, чем этот двор, чем даже его мама.

«Я умираю, — подумал Лев без страха. — Ну что ж. Я был верующим человеком. Я ждал этого. Что же там? Рай? Встреча с мамой? Может просто — тишина?»

Он был готов.

Монитор у кровати пикнул. Ритм замедлился.

Лев не звал медсестру. Он спокойно закрыл глаза и подумал о самом главном в его жизни: о дочери, которую оставляет, о внуках, о музыке, которую написал — «Симфонии возвращения». Она так и не стала знаменитой. Но он любил её больше всех.

И в этой любви, тёплой и горькой, Лев Эдуардович Горелов, родившийся 14 марта 1923 года в Петрограде, дирижёр, отец, вдовец, сделал последний выдох.

Монитор запел протяжно.

Через минуту вбежала медсестра, но Лев уже был там — высоко, над палатой, над крышами, над облаками.

«Господи, — подумал он, паря в свете, который не был ни

золотым, ни белым, а просто родным. — Вот и всё. Я иду к Тебе.»

Свет сгустился.

Стало тесно.

Очень тесно.

И темно.

А потом — боль. Острая, первая боль в новой жизни. Боль воздуха, ворвавшегося в лёгкие.

Лев закричал.

Крик был тонким, младенческим.

Он попытался открыть глаза — но мир ещё не научился показывать себя чётко, он был размытым, тёплым, текучим. Лев различал только пятна света и тени, но он почувствовал запахи. Перекись. Кровь. И знакомые духи — сладковато-терпкие.

«Красная Москва».

— Как назовём? — услышал он голос. Мужской, молодой, с хрипотцой. Отец.

— Львом, — ответил женский. Мама. — В честь деда.

— Лёвушка, — сказал отец, и огромные пальцы обхватили крошечную руку новорождённого.

Лев хотел закричать: «Я здесь! Я был стариком! Я только что умер!», — но из горла вырывался только плач.

Он всё помнил. Всю свою жизнь. Смерть. Свет. И теперь этот свет резал ему глаза.

Свет, который был раем, вдруг стал пыткой. Лев хотел

крикнуть: «Я уже был здесь!» — но из горла вырывался только тонкий, чужой плач. И он понял: теперь он — это не голос. Он — это крик.

Он не знал, сколько раз это происходило. Не знал, забудет ли он всё это. Не знал, будет ли случаться такое ещё. Он знал только одно: он умер и родился снова. В том же году. В той же семье. В том же городе.

Мама взяла его на руки, прижала к груди.

Лев чувствовал тепло её тела, биение её сердца. И этот стук был единственным, что удерживало его от безумия.

Он плакал долго. Потом устал. Потом уснул.

Утром, когда солнце коснулось подоконника, Лев проснулся младенцем, который ничего не помнил.

Он смотрел размытыми глазами на пятно света и не знал, кто он. Не знал, где был до этого. Не знал, почему ему грустно.

Он заплакал — просто потому, что был голоден.

Мама взяла его на руки.

— Всё хорошо, Лёвушка, — прошептала она. — Жизнь только начинается.

Лев не понял слов. Но ему стало очень тепло. Он замолчал.

Глава 2. Первый свет

Утро пришло лучом. Он упал на подоконник ровно в 7:42 — Лев не знал этого времени, не знал цифр, не знал даже слова «время», но тело его замерло. Глаза, ещё не научившиеся видеть далеко, уставились на светлое пятно. И что-то внутри сжалось.

Он заплакал. Не от голода — грудь мать давала час назад. Не от мокрого — пелёнки были сухими. Он заплакал потому, что луч упал туда, куда падал всегда. И Лев это знал. Но откуда — не помнил и не понимал.

Мать подошла к кроватке, взяла его на руки.

— Лёвушка, ну что ты? Успокойся.

Она пахла «Красной Москвой». Лев замолчал на секунду — узнал запах. Потом закричал снова. Громче.

Он не мог объяснить. Ни себе, ни ей. Запах был знакомым. До боли знакомым. И от этого узнавания становилось страшно.

Дни шли. Или ночи? Лев не различал. Был свет — и была тьма. Был голод — и была сытость. Был запах молока — и запах духов. И иногда — звуки, от которых хотелось спрятаться.

В первый раз это случилось, когда отец включил радио. Лев лежал в кроватке, смотрел в потолок, пускал пузыри. Потом из деревянной коробки хлынуло нечто — множество

звуков, сплетённых в одно.

Оркестр.

Лев не знал этого слова. Не знал, что такое скрипки, виолончели, медные трубы. Но тело его выгнулось, пальцы сжались, и он закричал так, как не кричал даже при рождении.

— Чего орёшь? — удивился отец. — Это же Чайковский.

Мать выбежала из кухни, выключила радио.

— Зачем ты его пугаешь?

— Я не пугаю. Это же просто музыка.

Лев плакал ещё долго. Сквозь слёзы он слышал, как стучит сердце матери — бум-бум-бум — и этот стук был единственным, что его не пугало. Потом сон пришёл сам собой. Но ночью его настигли тени.

Он падал. Не как с высоты — как из света в темноту. Чьи-то руки — огромные, тёплые — держали его, а потом отпустили. И он летел, летел, летел, пока не проснулся с криком.

Мать не спала. Она сидела рядом, качала кроватку.

— Тш-ш-ш. Это просто сон.

Лев не понимал того, что она говорила ему. Но он понял, что она рядом. И снова заплакал — теперь уже от облегчения.

На пятый день мать не выдержала. Она завернула Льва в одеяло, понесла в поликлинику. Врач — пожилой мужчина с усталыми глазами — послушал дыхание, посмотрел горло, пощупал живот.

— Физически здоров.

— Тогда почему он постоянно плачет? — спросила мать.

— Ест нормально. Сухой. А орёт. Иногда часами.

Врач пожал плечами.

— Беспокойный темперамент. Такое бывает. Перерастёт.

Лев лежал на холодном столе и смотрел в потолок. Он не понимал, где находится. Но чувствовал, что здесь он уже бывал. И это чувство было хуже любого крика.

Мать взяла его на руки, прижала к груди.

— Пойдём, Лёвушка. Домой.

Домой. Лев не знал этого слова. Но оно ему определённо нравилось. После этого слова ему становилось теплее внутри.

Он уснул по дороге — в автобусе, под мерный гул мотора. И ему приснилось лицо. Женское. Красивое. Оно улыбалось, а потом начало распадаться — как отражение в воде, когда бросаешь камень.

Лев проснулся в слезах.

Мать гладила его по голове.

— Снова?

Он не мог ответить. Он уткнулся носом в её шею, вдохнул «Красную Москву» и понял: это лицо — не её. Другое. То, которое он потерял ещё до того, как научился помнить.

Прошли недели. Луч по-прежнему падал на подоконник в одно и то же время. Лев научился следить за ним взглядом. И каждый раз, когда свет касался белой краски, он замирал. А потом начинал плакать.

Отец говорил: «Избаловали». Мать молчала. Она просто брала его на руки и носила по комнате — туда-сюда, туда-сюда.

Лев не понимал, почему плачет. Но подсознание помнило. Оно помнило свет, который вдруг стал тесным. Оно помнило боль в лёгких, когда воздух ворвался в первый раз. Оно помнило руки, которые держали его тогда — и которые держали его сейчас.

Он не знал, что это называется «смерть» и «рождение». Он просто плакал.

Улыбался Лев очень редко. Когда мать брала его на руки сразу после кормления. Когда солнечный луч падал не на подоконник, а на его одеяло. Когда отец, сам того не замечая, напевал что-то тихое и грустное.

В эти секунды Лев забывал, что ему страшно. Он просто был. Но страх возвращался. Всегда.

Шли месяцы. Лев научился сидеть. Потом ползать. По комнате, по кухне, к окну — где каждое утро падал тот самый луч. Он сидел на полу, подставлял ладонки под свет и смотрел, как он течёт сквозь пальцы. И ему казалось — нет, он чувствовал, — что сквозь пальцы течёт не только свет. Что-то ещё. Что-то, что он потерял и никогда не найдёт.

Мать находила его у окна и удивлялась:

— Что ты там всё смотришь?

Лев не отвечал. Он ещё не умел говорить.

Но скоро научится.

И тогда — тогда он забудет всё окончательно.

А пока — пока он просто плакал. И улыбался. И тянул руки к лучу, который падал на подоконник ровно в 7:42.

Глава 3. Первый звук

Лев рос. Не быстро и не медленно — как все обычные дети. Вера кормила его, купала, пеленала. Эдуард возвращался с завода, устало целовал жену в щёку, заглядывал в кроватку.

— Спит?

— Сначала плакал, — отвечала Вера. — Потом уснул.

— Когда ж он не плакал?

Вера на это не отвечала. Она сама не знала, почему сын такой беспокойный. Врачи говорили: «здоров». Старухи шептались: «сглазили». Но Вера не верила ни в то, ни в другое. Она просто носила Льва на руках, когда он плакал, и молчала.

В семь месяцев Лев научился полноценно сидеть. В восемь — ползать. В девять — вставать там, где есть опора, держась за перекладину кроватки.

И каждый день, ровно в 7:42, когда солнце касалось подоконника, он замирал.

Вера заметила это не сразу. А заметив — удивилась.

— Посмотри, Эдуард. Он смотрит на свет как заморожённый.

Эдуард хмыкнул.

— Солнце. Все дети любят солнце.

— Но он не просто любит. Он... ждёт его.

— Выдумываешь.

Вера не выдумывала. Она сидела рядом с ним каждое утро

и видела: за минуту до того, как луч падал на подоконник, мальчик поворачивал голову к окну, прямо как по часам. Не к двери, не к матери — к окну. Будто чувствовал приближение этого света.

Луч падал. Лев замирал. Смотрел. Потом начинал плакать.

Почему — никто не знал.

В десять месяцев Лев произнёс первый слог.

— Ма, — сказал он, глядя на Веру.

Вера заплакала от счастья.

— Слышишь, Эдуард? Он сказал «ма»!

Эдуард стоял в дверях, держал газету и делал вид, что не растроган.

— Скажет «па» — тогда приходи.

Лев посмотрел на отца и заплакал.

— Вечно ты его пугаешь своим голосом, — сказала Вера.

— Я ничего не сделал.

— Ты просто стоишь. Этого уже достаточно.

Лев плакал не от страха. От тоски. Без причины. Без памяти. Просто — от тоски.

Шли месяцы.

Лев научился ходить. Сначала вдоль кровати, потом по комнате, держась за мамину юбку. Он падал, вставал, падал снова. Вера не бросалась поднимать — ждала, пока сам встанет.

— Пусть учится, — говорил Эдуард. — Мужчина должен

быть стойким.

Лев не знал, что такое мужчина и что такое стойкость. Он просто чувствовал: падать — это привычно. Будто он падал уже много раз. И каждый раз вставал. И каждый раз болело одинаково.

Однажды, когда Льву было год и два месяца, он увидел в шкафу отцовский карандаш. Толстый, красный, заточенный. Лев взял его. Не для того, чтобы рисовать — для того, чтобы держать.

Он поднял карандаш над головой. Замер. Медленно опустил.

Вера смотрела из кухни.

— Эдуард, иди сюда.

— Что там?

— Иди посмотри.

Эдуард вошёл в комнату и замер.

Лев стоял посреди комнаты, держа карандаш в правой руке — не как оружие, не как игрушку. Он держал его так, будто в руке была не деревяшка, а власть над целым миром. Рука плавно пошла вверх, потом в сторону, потом замерла.

Он двигался как дирижёр.

— Это как? — тихо спросил Эдуард.

— Я не знаю, — ответила Вера. — Никогда ему не показывали.

— Может, в кино видел?

— В каком кино, Эдик?

Лев опустил карандаш, повернулся к родителям и улыбнулся. Бессмысленно. Просто от того, что ему было хорошо.

Но Вера и Эдуард не могли отвести глаз. Им показалось — на секунду — что сын стал старше. Гораздо старше. И глаза его смотрели не на них, а сквозь них, туда, где когда-то играла музыка, которую никто в этой комнате никогда не слышал.

Потом моргнул — и стал просто ребёнком. Уронил карандаш. Заплакал. Захотел на руки.

Вера взяла его, прижала к груди.

— Ты у меня странный, Лёвушка.

Лев уткнулся носом в мамину шею, вдохнул «Красную Москву» и закрыл глаза.

В год и три месяца Лев сказал первое осознанное слово. Это было утром. Солнце только коснулось подоконника — 7:42, как всегда. Лев сидел на полу, смотрел на свет и молчал. Вера вошла в комнату, присела рядом.

— Лёва, скажи «мама».

Лев повернул голову. Посмотрел на неё — долго, пристально, как смотрят на того, кого узнали после долгой разлуки.

— Ма-ма, — сказал он. Чётко. Осознанно. В первый раз не слог, а слово.

Вера всхлипнула.

— Умница ты мой!

Лев улыбнулся. И в ту же секунду что-то щёлкнуло у него

внутри. Тихо, почти нежно, как захлопывается дверца шка-
тулки.

Он моргнул.

Память — та, что была до этого — она не ушла резко. Она не исчезла взрывом. Она просто... перестала быть нужной. Как будто кто-то выключил свет в комнате, где не было окон.

Взгляд Льва стал чище. Глубже? Нет — проще. Он посмотрел на мать и увидел её впервые. Не вспомнил — именно увидел.

Вера улыбалась. Лев протянул к ней руки.

— Мама.

— Да, Лёвушка. Я мама.

Лев не помнил ничего. Ни палаты, ни монитора, ни света, который сгустился в тесноту. Не помнил музыки, не помнил дирижёрской палочки, не помнил «Симфонии возвращения». Не помнил даже того, что минуту назад что-то помнил.

Он просто сидел на полу, смотрел на мать, улыбался и тянул к ней руки. Луч на подоконнике уже погас. Ушёл дальше, на стену, потом на пол, потом исчез до следующего утра. Лев не заметил этого. Он впервые не ждал луч.

В тот вечер Вера сказала Эдуарду:

— Он сказал «мама». Первое слово.

— Ну вот, — ответил Эдуард. — Дождались. Расти будет.

Лев спал в кровати. Ему снился сон — короткий и бесцветный. Что-то тёплое, что-то круглое, что-то исчезающее.

Он не запомнил сон. Проснулся утром — и забыл даже то, что он снился.

Мать подошла к кровати, улыбнулась.

— С добрым утром, Лёвушка.

Лев посмотрел на неё чистыми глазами, в которых не было ни боли, ни страха, ни тоски. Было только любопытство и голод.

— Мама, — сказал он. Потому что это было единственное слово, которое он знал.

Вера взяла его на руки.

— Всё хорошо, — прошептала она. — Жизнь только начинается.

Лев не понял слов. Но ему стало хорошо.

Луч упал на подоконник ровно в 7:42. Лев не заметил его. Впервые.

Глава 4. Чужая музыка

Лев рос. Не быстро и не медленно — как все дети, у которых нет выбора.

В четырнадцать лет он уже знал, что будет инженером. Отец сказал — значит, так. Эдуард не спрашивал, хочет ли сын. Он объяснял: завод, чертежи, детали. Настоящая работа. Лев слушал, кивал и не спорил. Ему и самому нравилось чертить. Линии ложились ровно, цифры складывались в формулы, мир становился понятным — как таблица умножения, где всё на своих местах. Но иногда, по ночам, приходило другое.

Сны были липкими, тягучими — как кисель, который мама варила по праздникам. Лев просыпался, не помня деталей, но внутри оставалось: свет, который вдруг стал тесным. Падение. И лицо — женское, красивое, с глазами, которых он не знал в этой жизни.

Он лежал в темноте, слушал, как стучит сердце, и ждал, когда страх отпустит. Он не знал, почему ему страшно. Не знал, почему по щекам текут слёзы, когда он даже не плакал. Он просто лежал и ждал. А утром вставал, умывался холодной водой и шёл в школу.

В школе он учился хорошо. Особенно по математике и черчению. Учительница черчения, Марья Ивановна, говорила матери: «У Льва рука инженера. Линия как струна». Вера

улыбалась, но в её улыбке была грусть.

Она однажды попробовала заговорить с мужем.

— Эдуард, может, отдать его в музыкальную школу? У него руки...

— Руки для работы, — отрезал тот. — Инженером будет. Толк выйдет.

Вера даже не спорила дальше.

В пятнадцать лет Лев впервые увидел Анну.

Она пришла в их класс в середине сентября. Новенькая — бледная, с косичкой, с глазами, которые смотрели так, будто знали про него что-то, чего он сам не знал.

Лев смотрел на неё из-за парты и не мог отвести взгляд. Внутри что-то щёлкало — как тогда, у него в детстве, когда луч касался подоконника. Он не знал, что это. Он знал только то, что ему хочется смотреть на неё и смотреть вечно.

Он не решился подойти. Стоял у окна на перемене, смотрел, как она разговаривает с одноклассницами. Она заметила его взгляд, улыбнулась — вежливо, как улыбаются незнакомцам. Он отвернулся. Щёки покраснели.

Вечером за ужином Эдуард, глядя на сына — сразу всё понял, усмехнулся:

— Влюбился, что ли?

Лев не ответил.

— Ты это брось. Сначала учёба. Потом работа. Бабы — после всего.

Лев кивнул, хоть и не понял. Он вообще ничего не пони-

мал в эти дни. Только чувствовал — внутри него что-то движется, как вода под тонким льдом.

Осенью, после уроков, Лев остался в школе один. Нужно было доделать чертёж — Марья Ивановна хвалила его за усердие, но в этот раз линии не ложились. Лев злился, перечерчивал, снова злился.

Он услышал музыку из актового зала. Кто-то играл на пианино — плохо, неумело, сбиваясь. Лев поднялся на второй этаж. Дверь была открыта. За инструментом сидела девочка из параллельного класса — Лев не знал её имени. Она тыкала пальцем в клавиши, останавливалась, начинала снова.

Увидев Льва, она убрала руки.

— Ты умеешь играть?

Лев не ответил. Он подошёл к пианино. Сел. Положил пальцы на клавиши — холодные, гладкие, чуть влажные. И замер. Пальцы двинулись сами. Сначала робко — как будто пробовали, не сломается ли клавиша. Потом увереннее. Мелодия лилась из него, как вода из переполненного кувшина. Он не знал этой музыки. Он никогда не учился играть. Но пальцы что-то помнили. Тело знало.

Девочка смотрела, открыв рот.

— Ты где научился?

Лев поднял голову. Пальцы замерли.

— Нигде.

Он встал и вышел из зала. Не оглядываясь. Девочка не стала останавливать его.

Дома он долго сидел за столом, глядя на чертёж. Пальцы дрожали. Он кидал на них свой взор и не узнавал.

В шестнадцать лет Лев поступил в инженерное училище.

Эдуард был доволен. На проводах он пожал сыну руку — крепко, по-мужски. Вера плакала. Она всегда плакала, когда Лев куда-то уезжал. Анна стояла у перрона. Лев увидел её в окне вагона. Она махала ему. Он хотел выйти. Хотел подойти. Но поезд уже начал трогаться. Она осталась на перроне — маленькая, в сером пальто. Лев смотрел на неё, пока она не скрылась из виду. Внутри стало пусто. И тепло. И горько.

Луч упал на сиденье напротив. Ровно в 7:42. Лев посмотрел на него — равнодушно, как смотрят на дождь за окном. Он не знал, что этот луч когда-то был его единственным якорем. Не знал, что когда-то он ждал его. Плакал без него. Умирал и рождался под ним. Он просто смотрел на свет и не узнавал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.